

Я Н У Ш Л Е О Н
ВИШНЕВСКИЙ

ВСЕ МОИ ЖЕНЩИНЫ
ПРОБУЖДЕНИЕ



Издательство АСТ
Москва

Одиночество начинается вовсе не с того, что тебя совсем никто не ждет дома. Одиночество начинается тогда, когда у тебя впервые появляется желание, чтобы тебя ждал там кто-то совсем другой...

Афазия

В широкой полосе расплывчатого зеленоватого света Он мог видеть только ее силуэт, причудливо изогнутый, вытянутый, окутанный легкой белой аурой, которая с каждым ее движением колебалась, то приближаясь, то удаляясь от нее. Когда она наклонялась к Нему слишком низко, аура ослепляла Его — и Он поспешно закрывал глаза. Он слышал, как она мурлычет что-то себе под нос, что-то вроде колыбельной, а иногда сама себя перебивает и еле слышно что-то говорит на незнакомом Ему языке — не немецком, не польском и не русском. Ему было хорошо, спокойно, все казалось нереальным. Как в долгом сне. Однажды на пляже, много лет назад, Он заснул в гамаке и чувствовал себя вот так же — то ли в полусне, то ли в полуяви. Только тогда свет был бледно-оранжевый и издали доносились голоса играющих детей на фоне ритмичного барабанного стука, а еще тогда рядом с Ним никого не было.

— Зачем вы трогаете мою голову? — спросил Он шепотом, осторожно коснувшись ее руки.

И в следующее мгновение почувствовал острую боль от впившихся ему в кожу затылка ногтей. Да это никакой

не сон! Вдруг стало очень светло, тот призрачный зеленоватый свет мгновенно исчез, Он ощутил одновременно пульсацию и боль в глазных яблоках и инстинктивно заслонил глаза руками. И услышал топот убегающих ног и чей-то взволнованный крик издалека:

— Господин доктор, господин доктор, пресвятая дева, господин доктор! Поляк очнулся! Пресвятая дева, господин доктор! Чудо! Наш Полонез проснулся! Боже всемогущий...

Через минуту распахнулась дверь и раздался громкий, регулярно повторяющийся сигнал, похожий на пожарную сирену. Он понятия не имел, почему находится здесь. Не в своем офисе. И не в своей квартире. И не в номере гостиницы. И не в самолете и явно не в купе поезда. Он осторожно убрал руку с глаз и чуть приоткрыл веки — и мгновенно снова почувствовал пульсацию в глазных яблоках. Как будто они готовы были взорваться изнутри.

Он успел заметить зеленый экран монитора кардиографа — это от него шло то зеленое свечение. Больница! Он в больничной палате! Но почему? Что с Ним случилось? Он начал ощупывать свое тело: сначала голова — никаких повязок, никаких трубочек или бинтов. Подушечками пальцев нащупал над лбом короткий колючий ежик — Его побрили! Сделали, значит, то, на что Он так и не мог решиться. Он исследовал голову очень внимательно, сантиметр за сантиметром. Все, по крайней мере внешне, казалось, было в полном порядке. И даже старая шишка — почти такая же старая, как Он сам, — была на своем месте, хорошо знакомая, выпуклая, в нескольких сантиметрах над шеей сзади.

Еще младенцем Он выпал из кровати вниз головой прямо на пол. В результате удара — Он был толстым и очень тяжелым младенцем, чуть ли не «самым отвратительным на всем белом свете», — получил сотрясение мозга. Потерял — как Ему каждый раз с неослабевающим ужасом рассказывала бабушка Марта — на три часа «все

сознание». Испуганные и растерянные родители за это время преисполнились уверенности, что их сын, даже если вдруг выживет, обязательно станет умственно неполноценным, но все обошлось и закончилось только смещением и небольшим костным выступом как раз в том месте на задней части головы. И все-таки сам Он, в отличие от родителей, всегда имел особое мнение касательно своего умственного развития — так что как ни крути, а неполноценность имелась.

«С головой, видимо, все в порядке», — подумал Он с облегчением. Это очень важно. Это самое важное. Ему нужна голова. Ему башка нужна больше всего на свете! Голова — это вся Его жизнь, смысл Его существования, возникающий из того, что Ему удалось собрать и создать своим мозгом, закрытым черепушкой с твердой шишкой в нескольких сантиметрах над шеей, о которой знают всего несколько человек на свете. Ему было всего девять или десять лет, когда Он понял, что все, что происходит с Ним и вокруг Него, каждое событие имеет свое место и значение, свою причину и итог только тогда, когда бывает зарегистрировано чувствами и обдуманно. Нет никакого мира вне нашего мышления. Ничего нет. Сколько бы и кто бы ни убеждал, что есть, что мир существует миллиарды лет. Тогда Он был, конечно, слишком маленьким, чтобы называть все своими именами: мысли — мыслями, сознание — сознанием, даже значение — значением, но уже тогда понимал, пусть и наивно, по-детски, что нет жизни без мозга, что именно в голове находится то «нечто», которое этот мир создает. И что у каждого в результате мир может получиться свой, а может не получиться никакого. Таким чересчур серьезным и мудрым для своего возраста философским истинам Он был обязан дедушке Бруно — на самом деле того звали Брунон, но после войны разумнее было не эпатировать обывателей лишний раз ничем немецким, — который

вот уже год, потеряв человеческий облик, умирал рядом, за стенкой.

Жили они тогда в трехкомнатной квартире на первом этаже старой, довоенной еще, обшарпанной каменки в маленьком заброшенном и малолюдном городке на Поморье. Если бы не Трехградье рядом, куда ездили работать и развлекаться, да просто садились в автобус или в поезд и убегали на несколько часов в Гданьск, Гдыню или Сопот, как и Он сам нередко делал, — можно было бы удаться от безнадежности своего существования в этой забытой Богом и людьми, сермяжной, беспросветной, жемчужно-серой провинции. Именно тогда, во время одной из таких вылазок в Гданьск, лет четырнадцать Ему было, голова кружилась от юношеских мечтаний, Он, сидя у подножия памятника защитникам Вестерплатте и глядя на уходящие из порта корабли, решил, что обязательно вырвется когда-нибудь в другую, лучшую жизнь. Любой ценой. Навсегда...

Три поколения в трех комнатах. Запертые в тесноте сорока пяти квадратных метров жилища, глядящего кухонным окном на стоящий напротив точно такой же дом, унылый дворик — каменный мешок, большую часть которого занимали всегда переполненные мусорные баки; над ними летом кружили роем мухи, а зимой в них рылись в поисках пропитания орды бездомных псов. Коммуналка без ванной и с отвратительным уборной-сортиром, стоящим на возвышении и закрывающимся на крючок, со вбитым в стену ржавым гвоздем, на котором висели рваные газеты. Его комната была самой маленькой. Прямоугольная, узкая, без окна, с выкрашенными желтой краской стенами, выгороженная из кухни, бывшей кладовки и кусочка коридора.

Дедушка Бруно не был Его «любимым дедулей». Не был и любимым отцом, и мужем хорошим не был, не был ни хорошим дядей, ни племянником, ни братом, ни даже

соседом. Он вообще не был человеком, который мог вызвать хоть какую-то симпатию, не говоря уже о любви. Законченный эгоцентрик, беспощадный тиран, к тому же еще пустозвон и конъюнктурный комедиант, твердо убежденный в своей непогрешимости. Бабушкой — она единственная, наверно, его когда-то любила — помыкал, издевался над ней и унижал при каждом удобном случае. Называл не иначе как «старуха». И Он не помнил, чтобы дед ее о чем-нибудь просил когда-нибудь — всегда требовал, указывал, а чаще всего — приказывал. «Старуха, подай! Старуха, принеси! Старуха, иди сюда!» — только такие слова выходили из его уст. А еще Он помнил всегда внезапные, ни с того ни с сего «тихие дни» дедушки Бруно. Без всякого повода Бруно вдруг обижался на весь мир и проводил в полном обиженном молчании несколько дней, игнорируя всех или всячески выражая им свое презрение. Правда, это не мешало ему по-прежнему командовать бабушкой: он писал на обрывках бумаги записки, которые никто не мог прочитать, кроме бабушки, свои требования, приказы, реже — вопросы и жестом пальца велел Ему относить эти записки бабушке.

Страдающий мегаломанией, дедушка Бруно очень кичился на каждом шагу «высшим образованием», которое на самом деле вообще-то ограничивалось «довоенным аттестатом». Это была «настоящая, довоенная гимназия, не то что эти нынешние коммуняцкие притоны для полудурков!», подчеркивал он каждый раз. Перед войной благодаря этому своему аттестату он получил довольно высокий пост на польской железной дороге в Хелмне, а когда пришли немцы — без малейших колебаний и угрызений совести, без всяких патриотических сантиментов с готовностью согласился на пост немного пониже, но зато в управлении Германской имперской железной дороги. После войны его обвинили в коллаборационизме, из-за этого он стал совершенно никем — и, может быть,

поэтому так и старался выместить на ком-то свою обиду и зло, а бабушка Марта, его жена, была всегда под рукой, так что вымещал он их главным образом на ней. Потом заболел. Приступы эпилепсии, провалы в памяти, продолжительные нарушения дыхания сопровождалась все более частыми и более длительными обмороками. Однажды в дом принесли здоровенный, покрытый ржавчиной баллон с кислородом и поставили у его кровати, всунули ему в нос грязные, пожелтевшие от времени, потрескавшиеся пластиковые трубки — и дедушка Бруно начал потихоньку умирать. Из высокомерного, наглого, шумного, не терпящего ни малейшего возражения спесивого деспота он вдруг превратился в покорного, согласного на все, совершенно безвольного, с каждым днем все более беспомощного и склеротичного пленника собственной болезни.

Баба Марта была при нем неотлучно, она превратилась в чуткую, заботливую, круглосуточную сиделку. Кормила его любимыми бульончиками, читала ему книги по-немецки, подкладывала и выносила полные горшки, мыла его, брила, причесывала, с ангельским терпением снося его грубоватую неблагодарность. Он помнит, как, желая помочь уставшей бабушке, сам читал деду его любимую газету «Трибуна люду» по-польски. И наблюдал, как внешний мир постепенно перестает существовать для мозга дедушки Бруно. Тот ни с того ни с сего вдруг начинал ругать и проклинать Гомулку, прихлебывая бабушкин бульон, или мог начать нахваливаться бабушкин бульон, когда ему читали о Гомулке. Случалось, что на него нападали приступы смеха, когда Марта рассказывала ему, что кто-то из знакомых умер, а иногда он вдруг начинал плакать во время просмотра по телевизору довоенной комедии с Дымшой. Он помнит, что именно эта медленная умственная агония деда Бруно потрясала его гораздо больше, чем его физическая немощь,

которая в конце уже сильно напоминала беспомощность младенца. Потеря памяти, деградация, слабоумие, деменция казались ему, маленькому мальчику, бóльшим унижением и угрозой чувству собственного достоинства, чем испражнения в горшок, стоящий посередине комнаты. Дедушка Бруно, сам того не зная, становился жалким, в каком-то смысле смешным — хотя какой уж там смех! — подобием человеческого существа, которому все — в глубине души — желали как можно скорее — для его же блага — покинуть этот мир и перейти в мир иной.

Никогда Ему не забыть тех событий. Это была первая смерть, которая коснулась Его так близко, так осязаемо и так конкретно. Он всегда будет помнить лежащее на покрытом накрахмаленной простыней столе обнаженное, бледное тело деда, похожее на высохшую мумию, которое обмывали бабушка и мама. Он с ужасом подглядывал через щелку в двери за этой печальной, странной и пугающей церемонией. Цели ее Он не понимал, но очень четко понимал в те минуты одно: дедушка Бруно ушел навсегда. Тот момент, когда к нам приходит понимание, что жизнь конечна, является также моментом, когда заканчивается наше беспечное детство. Тогда, дрожа от страха перед призраком деда, который может ночью явиться перед Его кроватью, он прижимался покрепче спиной к стене, отделяющей его комнатку от комнаты со страшным столом, где лежал мертвый дед, и очень остро чувствовал неотвратимость смерти и конечность жизни. Правда, осознал Он это уже много лет спустя. Так же, как и то, что сам хотел бы умереть вовремя и даже хотел бы, чтобы Его умертвили, если бы вдруг коснулось Его это «увядание и усыхание мозга», как когда-то по-своему назвала баба Марта то, что происходило с сознанием дедушки Бруно.

С течением времени в Нем росло убеждение, что человеческая глупость, даже если она вызвана болезнью, а

следовательно, человек в ней не виноват и наказывать его за нее нельзя, является самым страшным из несчастий, которое только может постичь человека. В свою очередь глупость, в которой человек виноват сам, казалась Ему тягчайшим и самым непростительным преступлением, которое только можно в жизни совершить. Это убеждение становилось в Нем все глубже и со временем превратилось в настоящую манию, иногда абсурдную в своих проявлениях. Однажды ночью — очередной бессонной ночью, потому что уже начинались у Него проблемы с необъяснимыми скачками давления, которые Он от всех скрывал, и Он, сам того не зная, уже страдал неврозом, — Ему вдруг в голову пришла страшная мысль: а ведь может так случиться, что Он сам своего этого «увядания и усыхания мозга» не заметит! Ведь дедушка Бруно до последнего вздоха об этом не подозревал! Они тогда жили с Патрицией в Германии. Было это задолго до их развода, Он был тогда в нее влюблен по уши. Их Сесильке исполнилось как раз шесть лет, она начала ходить в школу. Он помнит, как резким толчком разбудил тогда Патрицию посреди ночи и начал умолять ее: «Когда будешь уверена, что я теряю рассудок, помоги мне, не допусти моего превращения в кретина, дай мне какие-нибудь таблетки в большой дозе, например, ведь ты сделаешь это, Пати?» Вырванная из сна, Патриция сначала вообще не могла понять, о чем идет речь, а когда наконец поняла смысл Его неожиданной и странной просьбы, высказанной около четырех часов утра, спросила, какой дряни Он наглotalся и не переборщил ли слегка, а потом назвала Его «чертовым маниакальным параноиком», который уговаривает ее «отравить собственного мужа». Постепенно придя в себя, она начала Его гладить, успокаивать, а потом расспрашивать. Почему? Что случилось? Почему именно сегодня? Он болен? А почему она ничего об этом не знает? Может быть, у Него в жизни есть

другая женщина, которой Он первой сообщает такие важные новости? Сегодня — потому что Он не может с самого утра перестать думать об одном необыкновенно умном человеке из Гданьска. Он был рецензентом Его диссертации когда-то — суровый, педантично внимательный, бескомпромиссно справедливый. Потом, несколько лет спустя, они вместе работали на проекте для ЦЕРНа. И был тот человек для Него сначала авторитетом, а потом другом, которым Он восхищался и удивлялся. Благородный и честный. Образец скромности и доброты. Сегодня он повесился в собственном кабинете на трубе от батареи. Он много лет страдал рассеянным склерозом и не смог с этим справиться. Не смог смириться, что все больше теряет контроль над собственным телом. А особенно с тем, что теряет зрение. За последнее время он дважды падал на лекциях. Он никогда не позволял себе никакой слабости, беспомощность была для него невыносима. Очень требовательный к другим, к себе он был требовательней всего. Утром все видели, как он вошел в здание института. Никому ничего не сказал, ни слова. У его аспирантки был запасной ключ от его кабинета, она зашла сегодня туда, чтобы оставить на столе обещанные поправки к последнему разделу диссертации. И он там висел. Не оставил никакой прощальной записки, но успел написать письмо с извинениями за то, что не смог до конца исполнить обязанности научного руководителя, — он отправил это письмо ей на почту за несколько минут до смерти. Из Гданьска Ему позвонили, потому что знали, что они дружили. Вот поэтому сегодня. Потому что это самоубийство напомнило Ему о том, о чем он забыл. И старые демоны, как будто только и ждали подходящего момента, вырвались наружу, как газ из пробитого баллона.

— Страшная история. Ужасная. Но о каких таких демонах ты говоришь? Я понимаю, это ужасно — потерять